

**ДЖОН СТЕЙНБЕК**

---

*ЗОЛОТАЯ ЧАША*



*ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ  
МОСКВА*

УДК 821.111-31(73)

ББК 84(7Сое)-44

С79

Серия «Эксклюзивная классика»

John Steinbeck  
CUP OF GOLD

Перевод с английского *И. Гуровой*

Серийное оформление *Е. Фerez*

Компьютерный дизайн *А. Чаругиной*

Печатается с разрешения The Estate of Elain Steinbeck  
и литературных агентств McIntosh and Otis  
и Andrew Nurnberg.

**Стейнбек, Джон.**

С79

Золотая Чаша : [роман] / Джон Стейнбек ; [перевод с английского И. Гуровой]. — Москва : Издательство АСТ, 2020. — 288 с. — (Эксклюзивная классика).

ISBN 978-5-17-121325-1

«Золотая Чаша», первая серьезная работа одного из самых известных американских писателей XX века, — это нетипичный для его творчества исторический роман, который покажет читателю новые грани таланта Джона Стейнбека.

Написанное в жанре беллетризованной биографии, произведение повествует о жизни загадочного и порочного Генри Моргана — реально существовавшего пирата, разорившего побережья Центральной Америки во второй половине XVII века. В юности Морган несколько лет провел в рабстве, впоследствии прославился как искусный военачальник и вице-губернатор Ямайки.

Но главными целями безжалостного преступника стали обладание красавицей Санта Рохой и покорение Золотой Чаши — Панамы. В руках Моргана оказывается все великолепие богатейшего города Вест-Индии, которое, однако, не приносит ему счастья...

УДК 821.111-31(73)  
ББК 84(7Сое)-44

© John Steinbeck, 1929

© Copyright renewed by John Steinbeck, 1997

© Перевод. И. Гурова, наследники, 2019

© Издание на русском языке

AST Publishers, 2020

ISBN 978-5-17-121325-1

## Глава первая

### I

Весь день из черных ущелий Уэльских гор сеялся ветер, высвистывая весть, что с полюса на мир ползет Зима, и на реке постанывал молодой ледок. Угрюмый день, день серой бесприютности, день тревог. Легким своим движением воздух словно творил нежную элегию торжествующей печали о веселой беспечности. А на пастбищах могучие рабочие лошади беспокойно перебирали ногами, и по всему краю серенькие пичуги, сбившись в стайки по четверо и по пятеро, перепархивали с дерева на дерево, туда и обратно, призывным щебетом приглашая других желающих лететь вместе с ними на юг. Козы взбирались на вершины одиноких скал, заводили кверху желтые глаза и обнюхивали небесный свод.

Медлительной процессией прошли дневные часы, а на исходе вечера налетел ошалелый вихрь, прошелестел по сухой траве и, всхлипывая, унесся вдаль через луга. Черным монашеским капюшоном опустилась ночь, и Ее Святейшество Зима отправила в Уэльс своего нунция.

Неподалеку от проезжей дороги, которая огибала долину, убегала вверх по расселине между двумя обрывами и вырывалась в необъятный мир, стоял старый крестьянский дом, сложенный

из нетесаных камней и крытый соломой. Морган, воздвигший его, вступил в единоборство со Временем и едва не одержал победу.

Внутри в очаге плясал огонь, его языки лизали подвешенный над ним железный чайник, и чугунная духовка пряталась в углях, осыпавшихся с кромки пламени. Багровые отблески играли на конечниках копий, сотню лет бесполезно пылившихся в подставках вдоль стены, — с тех самых пор как Морган сражался в дружине Глендаура и вспыхивал яростью от кремневых строф Иоло Гоха.

Кованый сундук в углу всасывал свет медными полосами и ослепительно блестел. Хранились в нем бумаги, и пергаменты, и жесткие куски невыделанной кожи с записями на английском языке, на латыни, на древнем кумрийском: Морган родился, Морган взял жену, Морган был возведен в рыцари, Морган был повешен. В сундуке покоилась история рода, и позорная, и славная. Но теперь он настолько оскудел, что нынешние его обломки едва ли могли добавить к семейной хронике хоть что-нибудь, кроме простых дат — Морган родился... и умер.

Вот, например, Старый Роберт. Сидит в своем кресле с высокой спинкой, сидит и улыбается огню. Улыбкой недоуменной и вызывающей в своем смирении. Словно он улыбался сотворившей его Судьбе, чтобы понудить ее хоть чуточку устыдиться. Сколько раз он уныло думал о своей жизни, замкнутой в тесном кругу мелких неудач и поражений, которые насмешничали над ней,

как уличные оборвыши — над калекой. Старому Роберту казалось странным, что он, знавший куда больше всех своих соседей и столько размышлявший, не сумел стать даже хорошим земледельцем. Порой ему мнилось, что он понимает слишком уж много, а потому не способен ничего делать хорошо.

И Старый Роберт улыбался огню, прихлебывая отдающий горелым эль, который сварил по собственному рецепту. Разумеется, его жена шепотом найдет ему множество извинений, и батраки в полях ломают шапку перед Морганом... — перед Морганом, не перед Робертом.

Даже его престарелую мать Гвенлиану — вот она, тоже сидит возле огня и дрожит, будто пошвист ветра снаружи обдает ее леденящим холодом, — даже ее не считают столь полной ничемностью. В нищих лачугах ее и побаиваются, и почитают. Когда она сидит в саду, окруженная сонмом подвластных ей темных сил, уж конечно, перед ней, краснея и тиская шапку, стоит какой-нибудь дюжий парень и благоговейно ловит ее колдовские речи. Уже много лет назад она открыла в себе дар ясновидения и с гордостью прибегала к нему по любому поводу. Близкие, хотя и знали, что все ее вещания лишь догадки, которые с годами заметно утрачивали былое правдоподобие, выслушивали ее с уважением, напускали на себя благоговение и спрашивали, где искать потерянные вещи. Когда же после ее вдохновенного прорицания оказывалось, что пропавшие ножницы вовсе не провалились во вторую щель

между половицами в сарае, они делали вид, будто отыскивали их именно там. Ведь, лишись Гвенлиана своей пророческой мантии, осталась бы только высохшая старушка со смертью за плечами.

Поддакивание выжившей из ума свекрови было тяжким испытанием для Матушки Морган, предательством самых заветных ее убеждений. Вся ее натура восставала, ибо сама она была послана в мир, несомненно, для того, чтобы стать бичом людской глупости. А все, что не имело касательства к учению святой церкви или к ценам на рынке, могло быть лишь пустым вздором.

Старый Роберт любил свою жену так сильно и так долго, что мог разрешать себе и не слишком лестные мысли о ней — его любви они ничуть не уменьшали. Когда днем она вернулась, кипя негодованием — сапожник заломил неслыханную цену за башмаки, которые ей вовсе не были нужны, — он подумал: «Ее жизнь подобна книге, полной великих событий. Что ни день, она достигает той или иной немислимой кульминации: из-за оторванной пуговицы, из-за соседской свадьбы... И если на нее обрушится истинная трагедия, она, пожалуй, не сумеет распознать холма среди бесчисленных кочек. Быть может, это и есть подлинно счастливый жизненный жребий, — решил он и тотчас добавил: — Любопытно, как она соотнесла бы кончину короля и потерю новорожденного поросенка?»

Матушка Морган была погружена в заботы дня сего и не морочила себе голову глупыми отвлеченностями. Кому-то в семье надо же и о деле

подумать, не то кровлю разметет ветер, а чего ждать от таких сонных тетерь, как Роберт, Гвенлиана или собственный ее сын Генри? Любовь к мужу у нее слагалась из странного сочетания жалости и презрения, которые равно вызывали в ней и его беспомощность, и его благородство.

Юного Генри, своего сына, она любила слепой любовью, но, конечно, знала, что он еще слишком мал, чтобы уметь позаботиться о своей пользе или о своем здоровье. А они, все трое, любили Матушку Морган и боялись ее, и путались у нее под ногами.

Она накормила их ужином, заправила лампы, завтрак уже готовился на огне, — и теперь она искала, чего бы починить, словно не штопала тут же каждую прореху, едва что-нибудь рвалось. И вот, отыскивая, чем бы занять руки, она вдруг остановилась и посмотрела на юного Генри. Взгляд этот, суровый и нежный, казалось, говорил: «Как бы он не схватил простуду! Пол-то холодный». А Генри поежился под ним, припоминая, что именно он забыл сделать сегодня. Но Матушка Морган уже схватила тряпку и принялась вытирать пыль. У юноши отлегло от сердца.

Он вытянулся на полу, опираясь на локоть, и всматривался сквозь пламя в собственные мысли. Долгий серый день, вонзившийся в таинственность ночи, пробудил в нем страстное томление, уже давно дремавшее под спудом. Он мучительно желал, сам не зная чего. Быть может, над ним властвовала та же сила, которая сбивала птиц в стаи, гнала их в неведомую даль, а живот-

ных заставляла нервно ловить ноздрями ветер — не несет ли он запах зимы.

В этот вечер юный Генри понял, что без толку прожил пятнадцать никчемных лет, ничего не совершил и не достиг ровнехонько ничего. Знай его мать, какие им владели мысли, она сказала бы: «Мальчик растет».

И его отец повторил бы следом за ней: «Мальчик растет». Но оба думали бы разное и не поняли бы друг друга.

Генри, если говорить о его лице, унаследовал черты родителей почти в равных долях. Материнские жесткие скулы, твердый подбородок, короткая и узкая верхняя губа. Но пухлая нижняя губа, но тонкий нос, но грезящие глаза — их он получил от Старого Роберта. Как и крутые завитки густых черных волос. Однако лицо Роберта отражало бесконечную нерешительность, лицо же Генри излучало решительность — если бы ему только было что решать! Трое перед огнем — Старый Роберт, Гвенлиана и юный Генри — проникали взглядом сквозь стену и созерцали бестелесные видения, искали призраков во тьме.

Ночь была колдовская, когда можно увидеть плывущие над дорогой кладбищенские огни или тени римских легионеров, убыстряющих шаг, чтобы добраться до укреплений Карлиона прежде, чем разразится буря. А крошечные уродцы холмов ищут брошенные барсучьи норы, где удобно укрыться от ночи и от ветра, который с воем гонится за ними по лугам.



Внутри дома было тихо, только постреливали угли да шуршала под ветром солома терзаемой кровли. В очаге с треском лопнуло полено, выбросив узкий язык пламени, который огненным цветком прильнул к черному чайнику. Матушка Морган поспешила туда.

— Роберт, ты бы присматривал за огнем. Кочергой его надо, кочергой!

Таков был ее метод: она рылась кочергой среди разгоревшихся поленьев, пока совсем не сбивала с них пламя. А когда оно угасало, принималась яростно ворошить угли, чтобы оно запылало вновь.

С дороги донесся еле слышный шорох шагов: то ли там гулял ветер, то ли бродила невидимая нечисть. Однако звуки нарастали, оборвались возле двери, и в нее кто-то робко поскребся.

— Войдите! — крикнул Роберт.

Дверь бесшумно отворилась. Отблеск огня вырвал из ночного мрака согбенную фигуру обессиленного человека с глазами, как два чуть теплящихся огонька. Он помедлил на пороге, а потом вошел в комнату и спросил странным надтреснутым голосом:

— Ты меня узнаешь, а, Роберт Морган? Узнаешь, хоть и долго не был я здесь?

Это была мольба.

Роберт взгляделся в изможденное лицо.

— Узнаю ли? — сказал он. — По-моему, я никогда... Погодите... Неужели ты — Дафид? Маленький Дафид с нашей фермы, который ушел в море много лет назад?

Незнакомец просиял от облегчения, точно Роберт Морган с честью вышел из хитрого и страшного испытания. Он усмехнулся.

— Дафид, он самый. Богатый... и промерзший до костей. — В его голосе нарастала тоска, как набежавшая судорога боли.

Выглядел он каким-то белесо-серым, заско-рузлым, как пересохшая коровья шкура. Кожа на лице, казалось, настолько загрубела, что выражения на нем менялись лишь ценой сознательных усилий.

— Я промерз до костей, Роберт, — продолжал странный иссохший голос. — И больше не могу согреться. Зато я богат, — добавил он, будто одно уравнивало другое. — Разбогател вместе с тем, кого называют Большой Пьер.

Юный Генри давно вскочил с пола и теперь нетерпеливо воскликнул:

— Но где ты был? Где?

— Где? Да в Индиях. Вот где я был. В Гоаве, и на Тортуге — а слово это значит «черепашка», — и на Ямайке, и в дремучих лесах Испаньолы охотился на дикий скот. Я там всюду бывал.

— Ты бы сел, Дафид, — сказала Матушка Морган так, словно он никогда и никуда не уезжал. — Сейчас сделаю тебе теплое питье. А Генри-то так и ест тебя глазами, э, Дафид? Того гляди, сам в твои Индии соберется! — Сама она эти свои слова считала пустой шуткой.

Дафид молчал, словно подавляя желание говорить и говорить. Но Матушка Морган внушала ему тот же страх, что и в те годы, когда он был бело-

брысым деревенским мальчишкой. Старый Роберт понимал его смущение, да и Матушка Морган как будто что-то заметила, — сунув ему в руки дымящуюся кружку, она вышла из комнаты.

Дряхлая Гвенлиана сидела перед очагом, но сознание ее затерялось в волнах будущего, смутные глаза застлал грядущий день. За их блеклой голубизной словно громоздились события и судьбы, которые он нес. Она тоже удалилась из комнаты — удалилась в чистую стихию Времени и Будущего.

Старый Роберт подождал, пока за его женой не закрылась дверь, а потом поерзал в кресле, устраиваясь поудобнее, точно свертывающаяся калачиком собака.

— Так что же, Дафид? — сказал он и прищурился на огонь, а Генри, присев на пятки, почтительно взирал на смертного, который держал в горсти безмерность расстояний.

— Я, Роберт... я хотел рассказать про вечнозеленые непролазные чащи, и про коричневых индейцев, которые в них живут, и про того, которого называют Большой Пьер. Только, Роберт, что-то погасло во мне, точно огарок на ветру. По ночам я лежал на корабельных палубах и все думал, думал, как я буду рассказывать и хвастать, дай мне только домой вернуться. И вот я вернулся — точно малое дитя поплакать в родных стенах. Можешь ты это понять, Роберт? Хоть немного понять?

Он жадно наклонился вперед.

— Вот слушай. Мы захватили большой корабль с грузом серебра, галеон, как его там на-

зывают, а у нас были только пистолеты да тяжелые ножи — чтобы прорубать дорогу в зарослях. Двадцать четыре человека, всего-навсего двадцать четыре, оборванные, в лохмотьях... Но этими ножами, Роберт, мы творили гнусные дела. Скверно, когда парень, трудившийся на земле, творит такое, а потом все думает об этом и не может забыть. Капитан был храбрец, а мы подвесили его за большие пальцы и только потом убили. Не знаю, зачем мы это сделали. Я помогал — и не знаю почему. Кто-то сказал, что он проклятый папист. Так ведь и Большой Пьер, по-моему, тоже был из них. А других мы столкнули в море — и, пока они шли на дно, такие brave солдаты, изо рта у них рвались вверх пузыри, пузыри воздуха, а их панцири блестели и мерцали, опускаясь в глубину. Там в воде глубоко видно...

Дафид умолк и уставился в пол.

— Не хотел я тебя такими рассказами мучить, Роберт, да только у меня в груди под ребрами будто живая тварь грызет и царапает, чтобы выбраться вон. Я вот разбогател на таких делах, но все кажется, будто одного этого еще мало. А ведь я, может, побогаче буду твоего родного брата, сэра Эдварда.

Роберт улыбался крепко сжатыми губами. Иногда он обращал взгляд на сына, привставшего на колени у очага. Генри был как натянутая струна и жадно впитывал каждое слово. Когда Роберт заговорил, он не смотрел на Дафида.

— Твоя душа изнемогает под тяжким бременем, — сказал он. — Утром откройся священнику. А в чем — знать не мне.

— Нет, душа тут ни при чем, — торопливо возразил Дафид. — В Индиях душа сразу же испаряется из человека и остается на ее месте одна какая-то сухость, и все словно сморщивается. Никакая это не душа, а отрава, что у меня в крови и в мозгу, Роберт. Из-за нее я и зарастаю плесенью, как лежалый апельсин. Ползучие твари и ночные летуны, которых приманивает в темноте твой костер, и большие бледные цветы — они там все ядовитые. И обрекают человека на неслыханные муки. Вот даже сейчас кровь скользит по моим жилам, точно ледяные иголки, а ведь я сижу перед жарким огнем. И все это, все из-за сырого и смрадного дыханья зарослей. Ты в них и не живешь вовсе, но стоит уснуть там или просто прилечь, как они дохнут на тебя и погубят. А коричневые индейцы... Да ты погляди! — Дафид закатал рукав, и Роберт с омерзением, знаком попросил его поскорее одернуть рукав, закрыть жуткую белую язву, которая разъедала ему локоть. — А ведь стрела только чуточную царапину оставила, и не разглядеть было. Но уложит она меня в могилу до срока, уж я знаю. И отрава во мне не только эта. Там даже люди и те ядовитые. У матросов есть такая песня...

Юный Генри возбужденно перебил его.

— А индейцы? — вскричал он. — Индейцы и их стрелы? Расскажи про них! Они много воюют? Какие они из себя?

— Воюют? — повторил Дафид. — Воюют они все время. Воюют из любви к этому делу. Если на испанцев не нападают, так убивают друг дру-

га. Гибкие они, точно змеи, быстрые, бесшумные и коричневые, как хорьки. И будто сквозь землю проваливаются, едва начнешь в них целиться. Но народ они храбрый и крепкий, и ничего не боятся, кроме собак и рабства! — Дафид все больше увлекался своим рассказом. — Знаешь, малый, что они делают с тем, кого захватят в стычке? Утыкают его с ног до головы длиннющими колючками, а на конец каждой колючки надевают комок пуха вроде мотка шерсти. И стоит бедняга пленный в кольце голых дикарей, и они поджигают пух. И тот индеец, который не запоет, пока горит, как факел, будет проклят и объявлен трусом. Можешь ты вообразить, чтобы на такое был способен белый? А вот собак они боятся, потому что испанцы охотятся на них с большущими волкодавами, чуть им потребуются новые рабы для рудников. Ну, индейцам-то рабство хуже смерти. Скуют попарно, загонят в сырое подземелье, и так год за годом, год за годом, пока не уморит их болотная лихорадка. Вот и рад всякий из них запеть, когда загорятся колючки, и умереть в огне.

Дафид замолчал и протянул худые руки к очагу, почти погрузив их в пламя. Свет, вспыхнувший было в его глазах, пока он говорил, вновь угас.

— Устал я, Роберт, так устал! — сказал он со вздохом. — Но не лягу спать, пока не открою тебе одного. Может, тогда мне легче станет, может, выговорюсь и забуду хоть на эту ночь. Не могу я теперь жить вдали от зарослей, от их жаркого ды-

хания. Ведь тут, где я родился, меня бьет озноб и я все время мерзну. Так мне и месяца не протянуть. Наша долина, где я родился, вырос, трудился, изгоняет меня в смрадную геенну. Очищается от меня морозом. А теперь, не найдется ли у тебя для меня постели, и с толстым одеялом, чтобы моя бедная кровь не застыла вовсе? Утром я отправлюсь в путь. — Он умолк, и лицо его сморщилось, словно от боли. — А как я любил зиму!

Старый Роберт проводил его, поддерживая под локоть, потом вернулся и снова сел у огня. Он поглядел на юношу, который снова неподвижно вытянулся у очага.

— О чем ты думаешь теперь, мой сын? — немного погодя спросил он негромко. И Генри оторвал глаза от дальних земель по ту сторону огня.

— О том, отец, что мне надо поскорее уйти из дома.

— Я знаю, Генри. Весь этот год я смотрел, как желание уйти растет в тебе, точно крепкий дубок, — уехать в Лондон, в Гвинею, на Ямайку, все равно куда, лишь бы уехать. Потому что тебе пятнадцать лет, потому что ты силен и жаждешь новизны. Когда-то и для меня долина становилась все уже, все теснее, пока, мне кажется, немножко меня не задушила. Но разве тебя не пугают тяжелые ножи, мой сын? И яды, и индейцы? Они не внушают тебе страха?

— Не-ет, — медленно произнес Генри.

— Да, разумеется. С какой стати? Все эти слова для тебя лишены смысла. Но печаль Дафида, его муки, его больное, изможденное тело — разве